

Н О В Е Л Л Ы

# О Р Х И Д Е Я

ВЛАДИМИР  
СОКОЛОВ



# Владимир Соколов

# Орхидея. Новеллы

*<https://litres.ru/74632279>*

*SelfPub; 2026*

## Аннотация

Современная проза. Сборник небольших рассказов с историческим и мистическим уклоном.

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ничто                             | 4  |
| Портрет родителей                 | 18 |
| Римский судья                     | 31 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 43 |

# Владимир Соколов

## Орхидея. Новеллы

### Ничто

Мне тяжело рассказывать об этом дне. Никому не хочется умирать дважды – даже в простом воспоминании, в бумажной копии с забытого оригинала, особенно если приходится писать ее в тюремной камере накануне Страшного Суда. Но это только одна из причин, есть и множество других: уныние, неверие в себя, вялость воображения, скука. Порой такая наваливается тяжесть, такое бессилие от тщеты и ненужности всего, что в отчаянии опускаешь руки. Я заметил, что с каждым годом (а на моей могиле должно уже вырасти небольшое деревце) из моих воспоминаний все больше выветривалась свежесть, и в памяти остались только самые общие события, как в засушенном среди страниц листе дольше всего сохраняются его прожилки. Вот так, скудно, приблизительно и сухо, я вспоминаю свой последний день.

Мы вышли из дома часов в семь утра, по ясной заре, в слякоть и дымку мартовского половодья. Накануне на реке пошел лед, над льдинами кружились чайки, и талая вода заливала брусчатку набережных и площадей, отражая во всю глубину бледные, розовые с кровью облака. В ранних сумер-

ках улицы выглядели искусственными и нежилыми, как отстроенный на сцене уголок города, где в бутафорских зданиях светится два-три нарисованных окна. И только в будке караульного у моста теплился настоящий огонек – его сутулая фигура в папаше вышла нас встречать, усмирив разбухшего пса, и с натугой подняла полосатый шест шлагбаума. Мы торопливо прошли по мосту среди разбухших от тумана фонарей и, миновав ворота крепости, остановились у комендантского дома между двух безносых львов, охранявших пушечные ядра. Здесь я пожал руки моим спутникам, и мы расстались навсегда, договорившись встретиться через час.

Первую половину дня я провел в дворцовой кухне – это было единственное теплое место, куда сходились греться все солдаты и собравшиеся в крепости горожане. Среди них оказалось много моих знакомых; сидя на папках военного архива, которые свалили в угол для растопки, мы оживленно обсуждали последние события и спорили о том, успеют ли союзники высадить десант. Когда появился слух об ультиматуме, я вышел в соседний коридор и стоял в нише высокого окна, приподняв штору и глядя на улицу. К вечеру начало морозить, погода снова становилась зимней. Тихо пошел снег – крупный и бесшумный, он спускался на кусты в саду велеречиво медленно, словно стопы торжественного стихотворения. Весь внутренний двор темнел на глазах – не от сумерек, а от длинной очереди, которая выстроилась у коню-

шен за горячей кашей и кружкой кипятка. Свое решение я уже принял.

Не могу сказать, что мне было страшно. Силы моего воображения не хватало, чтобы ясно представить себе вещи, о которых не знала память. Я не знал, что такое допрос под пытками и расстрел над свежевырытой могилой, и боялся только того, чтобы кто-нибудь не подумал, что я трушу. Вообще, вся атмосфера в крепости была почти праздничной, приподнятой: большинство ополченцев составляли новобранцы и курсанты пулеметной школы, которые видели в происходящем только повод для проверки своей смелости. Они с нетерпением ожидали больших событий, которые ударяли им в голову, как крепкое вино. Никто не хотел проявить себя трусом или дезертиром: наоборот, каждый жаждал принять участие в схватке, возбужденный новизной опасности и чувством боевого братства.

В этом отношении, как и везде и всюду, я стоял ко всем особняком. Я-то думал как раз обратное: что в таком поведении заключается роковая слабость, слепая несвобода, подчинение внешним обстоятельствам, навязанным неизвестно когда и кем. Для меня это был только еще один пример всеобщего рабства перед действительностью, когда она молчаливо принимается за то, чем хочет выглядеть, не встречая попыток ее оспорить. Я не мог понять, почему люди так охотно повинуются логике бытия и с такой готовностью подлаживаются к переменам быта. С грустным недоумением я смот-

рел на то, как они послушно посещают службу, ходят на выборы, рожают детей или хватают винтовку и бегут по полю, всаживая штык в живот первого встречного врага. Мне даже притяжение к земле казалось навязчивым проявлением все той же чуждой и гнетущей внешней силы. В глубине души я хотел бросить ей вызов, проявить свою волю и, с наивностью младенца или слабоумного, заявить свое право выйти из затянувшейся игры, если уж ее правила перестали меня устраивать. Теперь, когда круг событий окончательно замкнулся и бежать было уже некуда, ничего не оставалось, как осуществить эту идею. Я решил – сам еще не понимая, в шутку или всерьез, – разорвать кольцо неумолимо сжимавшейся реальности, просто перестав обращать на нее внимание. Где-то в глубине сознания мне смутно мерещилось, что судьба или природа, ошарашенные такой дерзостью, будут вынуждены отступить.

Наверно, на эту мысль меня навели еще и необыкновенные размеры дворца. В архитектурном плане это было чрезвычайно сложное и запутанное сооружение в пять этажей, с хаотичной планировкой залов и дюжиной соединенных галереями корпусов, построенных в разное время и в разных стилях. Я слышал, что в его роскошных лабиринтах можно проходить целый день, ни разу не попав в одну и ту же комнату. Настоящих его размеров, наверно, не знал никто, но у каждого, кто хотя бы в общих чертах представлял себе масштабы этого колосса, создавалось впечатление необъятного,

почти безграничного пространства. А если так, то почему бы мне не убежать и не укрыться где-нибудь в дальних уголках дворца, как другие уходят от погони в горы или в чащу леса? Но это было слишком просто, и чтобы отличить свой план от банальной игры в прятки, я решил придать своему дезертирству характер музейной экскурсии. В конце концов, у меня и правда была цель: я давно хотел посмотреть коллекцию японских гравюр и китайской живописи на верхних этажах дворца, а теперь для этого выпал удобный случай, только и всего.

Отпустив штору, я спокойным шагом направился к одной из боковых дверей, задернутых бархатной портьерой. Здесь открывалась винтовая лестница на второй этаж, выходившая в боковую анфиладу: поднявшись по ней, я оказался в длинной полутемной галерее с огромными окнами, в которых серели мутные сумерки и монотонно, как шерстяная пряжа, валили хлопья снегопада. Не встретив по дороге ни души, я прошел несколько безлюдных помещений: зимний сад с пустыми кадками и чашей фонтана, мраморную гостиную, малый итальянский зал, дворцовую библиотеку, пахнувшую сладким ароматом старых книг. Чем больше я удалялся от главного входа, тем чаще встречал следы запустения или разорения. В некоторых комнатах статуи и мебель уже приготовили к отправке, упаковав в ящики и рогожу. На стенах Голландской гостиной в золотых рамах зияли черные дыры от вынутых холстов. В секретарском кабинете на дубо-

вом столе в беспорядке, как ненужный мусор, лежали казначейские билеты и россыпи монет. Иногда эхо близких голосов или доносившиеся из соседних залов шаги заставляли меня менять направление; тогда я сворачивал в первую попавшуюся дверь и постепенно перестал понимать, где нахожусь. Это было именно то, что нужно: я хотел затеряться, раствориться в бесконечной череде комнат, утратив всякое понятие о времени и месте. Только так можно было надежно спрятаться от своих преследователей: как они смогут найти меня там, где я не в состоянии найти сам себя?

Характер залов тем временем менялся. Турецкая курительная и бильярдная в мавританском стиле намекали на то, что где-то рядом находится восточная часть дворца. Оглядываясь по сторонам, я узнавал коптские ткани, чеканные блюда Сасанидов, янычарские сабли, подвешенные на шерстяных коврах. Кордовские вазы, расписанные люстром и покрытые золотой глазурью, чередовались с багдадской керамикой и египетскими фресками. Затем началась Индия, и в сгустившихся сумерках поплыли тумбы с пучеглазыми ракшасами, разевавшими львиные пасти. Я прошел какой-то душный зал, где по стенам висели кашемировые шали и булатные шлемы Моголов, а в углу на цветке лотоса восседал лунноликий, лоснящийся черной бронзой бодхисаттва, прятавшийся в опущенных глазах улыбку. Где-то уже совсем близко были Китай и Япония, но добраться до них я не успел: сидевшая на консоли металлическая сова вдруг с легким жуж-

жанием повернула голову и приподняла крылья; в тот же момент с хрустальным звоном ударили невидимые колокольчики и, пробив пять раз, уронили еще одну мелодичную ноту. Потом впереди оглушительно прогремел взрыв, и я увидел, как в открытой двери по коридору пробежал полуголый индеец, увешанный цветными перьями. Наверно, это была только галлюцинация, вызванная нервным напряжением и шоком, но в следующий момент вся жестокая реальность нахлынула на меня, словно мутная волна, kloкочущая яростью и злобой.

Толпа повстанцев уже бежала по лестницам, поднимаясь к верхним этажам. Где-то резко гроыхнул ружейный выстрел, от лепных плафонов отразились низкие мужские голоса. Странно, но в тот момент я больше боялся не смерти, а грубости тех людей, с которыми мне предстояло столкнуться. Я быстро вернулся назад к лестнице, которую заметил несколько минут назад, и бегом спустился вниз в ту же галерею, откуда начал свое путешествие, но с противоположной фасаду стороны. В последнее время здесь была устроена казарма: на потолке горел яркий свет, вдоль стен стояли пустые солдатские нары, и в воздухе крепко пахло сапожной смазкой. Большая двустворчатая дверь выходила отсюда прямо на улицу. В темных сенях на меня дохнуло зимним холодом; надвинув на глаза фуражку, я покрепче запахнул пальто и выбежал с крыльца во двор.

На улице уже стемнело, снег перестал. Где-то рядом на

площади ощущалось движение людских масс: раздавалось громкое ржание, скрипели повозки, ворочались тяжелые орудия; в темноте у въездных ворот, как ночное море, колыбалась толпа людей. Однако сам двор был почти пуст, лишь в дальнем углу ветер раздувал большой костер, и вокруг него грелась кучка людей, поднимавшихся тенями до второго этажа. Я легко, почти бесшумно направился в сторону реки, но меня тут же заметил и окликнул какой-то зоркий солдат. Я побежал, обгоняя собственное эхо. В полете между крыльями дворца торчала развороченная баррикада; я с размаху перемахнул через ров, забрался на мешок с песком и оглянулся. Резкий порыв ветра дернул меня за полу пальто; зашатавшись, я ухватился за фонарный столб и почувствовал ладонью шершавую поверхность ледяного камня. Думаю, именно в этот момент я и погиб. Смерть иногда любит потаскать свою жертву по казематам и застенкам, чтобы насладиться ее муками, но ко мне она отнеслась милосердно: я умер незаметно и легко, словно человек, который поменялся местами со своим отражением в зеркале. Вокруг меня как будто ничего не изменилось: я продолжал стоять наверху, видел лужи и отраженные в них огни, видел бежавшего ко мне длинного худого моряка, одетого в белый офицерский китель с кровавым пятном под правым эполетом. Потом я спрыгнул вниз, нырнул в темноту под аркой, сбежал по крутой лестнице и запер за собой дверь.

И сразу меня окружила абсолютная тишина. Это было

первое, что меня удивило. Помещение, где я стоял, напоминало подвал: на стенах висели железные кольца, и в них чадил тусклые плоскости, озаряя высокий потолок с какими-то неразборчивыми надписями. Я машинально пошел вперед, все еще думая найти какой-то безопасный выход, но очень скоро эти мысли рассеялись: мне стало ясно, что выхода не будет. Больше всего меня поражала строгая математическая прямизна многочисленных ходов и коридоров, утомительно похожих, иногда коротких, иногда бесконечно длинных, но уводивших всегда вниз: то по лестницам с мелкими ступенями, где едва помещалась моя стопа, то по огромным каменным блокам, по которым приходилось перепрыгивать с одного на другой, как по валунам через реку, то по скользким скатам или желобам, словно смазанным жиром. Наконец, я попал на нижний уровень, имевший одну особенность: справа и слева в стенах зияли дверные проемы, за которыми стояла непроглядная тьма. Я нашарил в кармане мелочь и бросил в один проем несколько монет – никакого отклика не последовало. Пол под ногами был покрыт белесоватой пылью, но на ней не было ничьих следов, даже моих собственных. Я уже начал думать, что отныне моим уделом станет вечное одиночество, как вдруг из-за угла донеслось покашливание и шарканье шагов. Остановившись, я собрался с духом и снова двинулся вперед, понимая, что мне ничего не остается, как идти навстречу своей судьбе.

За углом начинался новый коридор со множеством две-

рей, ближняя ко мне была приоткрыта и пропускала свет. Я протянул руку, чтобы раздвинуть ее пошире, но она сама распахнулась мне навстречу, и я увидел человека.

Это была женщина – пожилая, почти старая, лет пятидесяти или больше, удивительно большого роста, раза в два выше меня. Я не мог с уверенностью определить ее возраст. Ее лицо, полное и белое, как у фламандской молочницы, не имело ни румянца, ни лощеного блеска, какой обычно бывает у крестьянок: в блеклом освещении оно отсвечивало горько-желтым оттенком старого загара и напоминало перезревший плод. Кожа женщины казалась неестественно ровной, сухой, почти ломкой и от каждого движения мускулов собиралась в бесчисленные складки, точно пленка печеного яблока: тысячи тонких как волос морщинок исходили из уголков ее глаз и губ, хотя все лицо в целом, щеки, лоб и подбородок оставались идеально гладкими, пока хранили неподвижность. Ее тонкие губы сохраняли строгий, но не злобный вид, улыбаясь немного напряженно, но снисходительно и ласково, словно у доброй монахини. Глаза ее, широкие, голубые и прозрачные, напоминали те чистые, но пустые известковые озера, в которых не водится ни одна живая тварь. Внешность ее была солидная и почтенная, как у римской матроны или благородной дамы, хотя грузной и крепкой фигурой она напоминала скорей крестьянку. На ней было головное покрывало, накрытое сверху коричневым чепцом, коричневое платье над бочонком плотного корсета и твердая юбка, колоко-

лом стоявшая над полом; руки она держала над передником сложенными на животе.

Какое-то время мы стояли, глядя друг на друга; потом, помигав редкими ресницами, женщина отступила в сторону и жестом пригласила войти. Я шагнул, подняв ногу повыше, чтобы не споткнуться о высокий порог.

Это было помещение квадратной формы – не то келья, не то камера с низким потолком. Небольшой стол и сидалище с высокой спинкой – единственные предметы обстановки – были выдолблены из камня. На столе стояли медная лампа и канцелярские принадлежности тюремного вида: гусиные перья в глиняном стакане, стальная чернильница с крышкой и массивное пресс-папье. На углу стола лежали пачка писчей бумаги и очиненное перо. Я обратил внимание, что ни один из предметов в комнате не отбрасывал тени: ни стол, ни фигура великанши, ни я сам.

Женщина наклонилась над лампой и сделала пламя поярче.

– Можешь сесть, – бросила она через плечо.

Я сел и взял в руки перо, решив, что именно это от меня и требуется. На женщину я смотреть боялся: она выпрямила спину и возвышалась надо мной, как одна из греческих богинь, которые выделялись среди смертных своим ростом.

– Видишь эту бумагу? – спросила она глубоким грудным голосом, глядя на меня сверху вниз и стараясь поймать мой взгляд.

Я молча кивнул.

– Она приготовлена для тебя. Ты должен написать обо всем, что видел.

– Что я видел? – машинально переспросил я, пододвинув верхний лист.

– Да, историю своей жизни, – продолжала женщина твердо и сурово. – Начни с той погремушки, которой по утрам развлекала тебя няня, чтобы ты не плакал, пока не дадут поесть. Вспомни, о чем ты думал в эти минуты.

– Значит, я действительно умер, – пробормотал я.

Пламя в стеклянной колбе начало коптить, и женщина наклонилась, чтобы подкрутить фитиль.

– Но это несправедливо, я совсем молод, – добавил я, уставившись на чистую бумагу.

– Молодых здесь много, – возразила женщина, и мне показалось, что в ее голосе прозвучало удовлетворение. – Многие закончили и теперь отдыхают. Но не беспокойся – времени у тебя будет достаточно.

Я хотел было спросить, увидимся ли мы снова, но она уже направилась к двери и только на пороге обернулась:

– Чернил и бумаги хватит надолго.

– А потом? – спросил я.

– Потом? – повторила женщина, словно не поняв вопроса, и вдруг широко улыбнулась. – Когда ты закончишь, чернила высохнут, масло догорит. Наступит темнота.

После этого она вышла и закрыла дверь. Обмакнув перо

в чернила, я наклонился над чистыми листами и начал писать тем ровным каллиграфическим почерком, которому меня научила мать. Теперь, когда моя работа почти закончена, мне не в чем себя упрекнуть. Какой бы ни была цель моего труда – или даже если бы ее не было совсем, – я завершу его с чистой совестью и легким сердцем человека, по мере сил исполнившего доверенное ему дело. О будущем я стараюсь не думать, хотя в последнее время мне все чаще вспоминается один давний эпизод, еще не упомянутый в этих анналах: я нарочно приберег его напоследок. Это было зимой, морозным вечером, когда я возвращался домой с трамвайной остановки. Мой путь пролегал через просторную площадь у городского стадиона: на ее безлюдном плацу было холодно и светло, фонари заливали ее зловещим оранжево-золотистым светом, и ветер без конца лязгал стальными кольцами на высоких флагштоках, стоявших вдоль трибун. Где-то в невидимых репродукторах, словно желая скрасить мне дорогу, играл духовой оркестр; и все то время, пока я чеканил шаги по мерзлым плитам, до глубины души признательный этим незримым музыкантам, вся прожитая и будущая жизнь казалась мне таким же сомнамбулическим движением по зимней площади, продолжающимся ровно столько, сколько длится выделенный мне музыкальный номер. Словно подтверждая мои мысли, музыка скоро смолкла, но сразу началась другая – для следующего пешехода; а я продолжал идти все дальше, углубляясь в седые аллеи парка, все еще слыша дого-

нявшую меня мелодию, которая постепенно превращалась в невнятное эхо, в дрожащий резонанс, в осколки разрозненных звуков, застревавших в морозном воздухе. Не знаю, глушь или пророчество, но именно таким мне представляется теперь загробное существование: окаменевшая, вмерзшая в ледник душа, смутно различающая музыку далекой жизни и готовая оттаять и проснуться, когда для этого наступит время.

# Портрет родителей

Мой дед со стороны матери работал путейцем в городке Талдом, расположенном к северу от Москвы. В войну большой дом, где жили железнодорожники, был разрушен бомбой, и его вместе с женой и четырьмя детьми перевели в деревню Лебзино, поселив в здании местного вокзала. Так получилось, что особый дух пристанционной жизни: рукотворные горы песка и щебня, запах просмоленных шпал, ржавые стрелки на запасных путях, бесконечные товарняки, грохотающие по ночам на стыках рельсов, – сопровождал мамино детство так же, как у других детей соседство пристани или морского порта. Точное время она определяла по звонкам, предупреждавшим о прибытии поезда – за пять, за три и за одну минуту, – а последние новости узнавала от пассажиров, заходивших во двор напиться и качавших колодезную воду, которая с шумом поднималась откуда-то из глубины и была литой струей в подвешенную на крюке алюминиевую кружку. Часть вокзального строения, где жила семья, занимал зал ожидания для пассажиров – душноватое помещение с тяжелыми скамьями, где даже в жаркие дни стояла затхлая прохлада и на пыльных окнах трепыхались бабочки. Все работники на станции были мамины знакомые и здоровались с ней при встрече; на правах соседки она заходила к ним в «дежурку» и играла семафорными флажками, туго скрученными на

деревянных рукоятях, пока тетя Маша или тетя Галя сидели у окошка кассы и выдавали билеты – узкие полоски картона с проштампованными дырочками – через деревянный ящик, ездивший взад-вперед сквозь стену.

Перед вокзалом, по тогдашнему обыкновению, был разбит пристанционный садик, где до поздней осени цвели кусты шиповника и пассажиры могли посидеть на лавочке в ожидании поезда. Расписание поездов на уличных щитах набирали по старинке из деревянных дощечек с буквами и цифрами, словно шашечки домино. Не было ни тротуаров, ни асфальта – только трава и дощатый настил, уводивший к высокому белому перрону, выложенному из кирпича и посыпанному песком: он выглядел необыкновенно длинным, тянувшимся до леса, и на самом дальнем его конце, куда редко доходили пассажиры, в обвалившейся кладке можно было посмотреть муравьев, которые таскали белые яйца, поблескивая слюдяными крылышками. Еще одна дорожка вела к стоявшей на отшибе деревянной будке с окном «сердечком» и обмотанной бечевкой ручкой (эту бечевку потом наматывали на торчавший из косяка гвоздь, чтобы закрыть дверь изнутри): зимой здесь дышало паром обледеневшее «очко», а в летний зной удушливо-сладко пахло теплой древесиной и нагретым толем. За туалетом начиналась двойная шпалера еловых насаждений, на целый километр сопровождавшая насыпи с железнодорожным полотном. Летом по этому хвойному коридору можно было долго идти в сторону Савёло-

во, не выходя из лесной тени и собирая по пути грибы или землянику, и выйти уже в глубоком лесу у железного моста, одним шагом переступавшего через какой-то заболоченный ручей. Во время войны мост несколько раз пытались разбомбить, и оставшиеся от бомб воронки со временем наполнились водой, превратившись в маленькие пруды. В жаркие дни мама часто ходила сюда купаться со своим дворовым псом Трезором: тот в предвкушении свободы возбужденно ерзал и скулил, пока она снимала цепь, потом мгновенно срывался с места и исчезал из виду, чтобы спустя полчаса, успев обежать все окрестности и нахватав на шерсть сора и репья, неожиданно выскочить к ней из кустов. По мере того, как нагревался воздух, в тенистой галерее, все время поворачивавшей вправо, разливался запах хвои и размякшей земляники; когда она выходила к мосту, зной набирал уже полную силу – это было видно по тому, как жгуче блестели шпалы под каплями смолы и как надсадно сверкали кварцевые искры в россыпях гравия на железнодорожном полотне. Босая и простоволосая, с налипшей на подол древесной трухой и пылавшими от крапивы икрами, она забиралась на насыпь, переступала через горячие рельсы и снова спускалась в прохладный лес. Лесной пруд был мал, но живописен своей полуденной сумеречностью и заросшим ряской берегом, куда наклонно уходили замшелые стволы; в этом укромном месте, повесив на ветку клетчатое платьице, она вволю плескалась и резвилась, распуская лягушек и стрекоз, а потом

не спеша возвращалась домой с уже выдохшейся и присмиревшей псиной, обжигаясь босыми пятками о шпалы и нарочно идя по солнцепеку, чтобы быстрее сохли волосы, – пока догонявший сзади поезд не заставлял ее спуститься вниз, в темную прохладу ельника.

В Лебзино не было десятилетней школы, поэтому два последних класса мама ходила учиться пешком в районный центр, за восемь километров от деревни. Чтобы успеть на уроки, ей приходилось вставать затемно и в проливной дождь, надев сапоги и дождевик, шагать сначала полем по раскисшей от воды меже, потом по грунтовому шоссе вдоль леса и, наконец, напрямик через еловый бор. За всю дорогу ей обычно не встречалось ни души, разве что перед самым городом, громыхая на ухабах, пролетал открытый грузовик с глазевшими из кузова солдатами. В зимнее время дорогу укорачивали лыжи, но было неудобно бегать в тяжелом овчинном полушубке и пуховом платке, завязанном крест-накрест на спине, воткнув валенки в кожаные скобы и водрузив на спину задубевший от мороза ранец, где при каждом шаге ритмично погромыхивал пенал. Зимой ходить одной в лесу было опасно, не только из-за метелей и расплодившихся после войны волков, но и из-за разных темных личностей, шатавшихся в то время по округе.

Как-то в морозный день мама задержалась после уроков и возвращалась позже обычного. Солнце уже село, на лес опу-

стились сиреневые сумерки, она бодро поддавала ходу, выглядывая между веток деревенские огни, – как вдруг прямо перед ней из-за дерева выступила темная фигура и перегородила путь. Низкорослый мужичок был мрачен и небрит, и судя по тому, с какой тяжелой и басистой хрипотцой он проговорил: «Не торопись, дочка», – стало ясно, что хорошего от него ждать нечего. То, что произошло потом, похоже на сцену из волшебной сказки: приглядевшись к лицу мамы при свете яркой луны, бродяга неожиданно опустился в снег и преклонил перед ней колени, словно средневековый дровосек, встретивший в пути лесную фею.

Закончив десять классов школы – в деревне это было тогда большой редкостью, – мама устроилась на службу в торфозаготовочный кооператив. К этому времени по окрестным селам, как поветрие, начала распространяться ее слава необыкновенной красавицы. На старых фотографиях, которыми забит наш плюшевый фотоальбом, она похожа на тех избыточно фотогеничных довоенных киноактрис, которые с густо подведенными глазами и летящей линией бровей, не меняя грима, исполняли в фильмах все главные роли, от египетской царицы до уличной цветочницы. Ее собственная жизнь, словно подражая этим образцам, тоже становилась все больше похожей на кино. То пожилой директор торфозаготовок – солидный человек с партийным стажем и тремя детьми – добивался ее расположения, шантажи-

руя пропажей каких-то отчетных документов (а времена были сталинские); то военный интендант, красавец-блондин в перетянutom ремнями кителя, требовал от нее в письме любовного свидания, угрожая в случае отказа застрелиться; то кудрявый тракторист, умиравший после операции в больнице, брал с нее торжественную клятву, что, если каким-нибудь чудом он все-таки выживет, она согласится стать его женой, – и потом благополучно выздоравливал, а маме приходилось стать клятвопреступницей. Мальчишки, носившие ей любовные записки от старших братьев, со временем из курьеров вырастали в конкурентов и завязывали сложные узлы семейных драм.

Большинство ее поклонников жило в соседнем Талдоме, откуда каждую субботу, когда в клубе были танцы, в трескучие морозы являлись напомаженные молодые люди в лакированных ботинках и, помаявшись какое-то время на крыльце, ни с чем уходили обратно: несмотря на свой «успех», мама была по-деревенски скромной и застенчивой, не любила знакомиться с новыми людьми и в отношениях со сверстниками предпочитала открытую и простую дружбу, в духе благородного товарищества и рыцарского благородства. Она на дух не выносила той скверной и ползучей сальности, которая все больше проявлялась в отношении к ней мужчин. Позже, когда ее двоюродного брата отправили служить в московский гарнизон, у нее появились воздыхатели среди его сослуживцев – тогдашних блестящих советских офицеров,

«адъютантов его превосходительства» в затянутых в рюмочку мундирах. Летними вечерами молодые лейтенанты с буткетами роз прыгивали с подножки московского поезда и, громко хрустя по гравию, подходили к дому под лай сата-невшего Трезора. Час или два спустя они все еще курили на скамейке, ведя через окно сложные переговоры с бабушкой, но, так ничего и не добившись, уезжали обратным поездом. Особо настойчивых донжуанов эти неудачи не смущали, и в другой раз, заручившись поддержкой брата, который потакал таким проделкам из гордости за красоту сестры, они появлялись уже тайно и, спрятавшись где-нибудь за поленницей, выжидали, когда мама появится на дворе и даст возможность рассмотреть себя получше. Она и выходила: выплеснуть за хлев бадью с помоями, налить похлебки в собачью миску, поставить на снег таз с дымящимся бельем и развесить простыни на веревке. В один такой хмурый и раскисший день на исходе марта, когда в лужах под навесами сараев хлюпала капель, а растрепанная мама, распаренная после стирки, в халате и домашних тапочках топталась на снегу, рассовывая по белью прищепки, – зачарованный этим зрелищем офицер неожиданно вышел из своего «секрета» и зеркально повторил жест своего безымянного предшественника, опустившись на колени в мокрый снег.

В отличие от хрустально ясной родословной матери: один дед раскулачен, другой осовечен, – происхождение моего от-

да довольно темно. Рассказывали, что он был сыном одного из братьев Марковых, петербургских башмачников, которые после революции перебрались в деревню; но зачем они уехали из города, как жили в Петербурге раньше и имелись ли у них еще какие-нибудь родственники, осталось для меня полной тайной. На карточках тех лет отец выглядит безукоризненно: белокурый, волоокский и надменный, с девственным холодным ртом, он похож на северного аристократа, чья нордическая внешность составляет идеальный контраст персидской красоте матери на их совместных снимках. На самом деле детство отца было по-крестьянски трудным и суровым: несколько его братьев и сестер умерли во младенчестве, сам он рос голодным, обношенным и полубеспризорным, всю войну работал от рассвета до зари в колхозе и от взрослого труда преждевременно окреп и закалился, хотя на вид казался хрупким и незагрубевшим, с холодноватой отчужденностью в глазах, навеянной романтическим образом мыслей и книгами Уэллса и Жюль Верна, которыми он зачитывался по ночам. Ранняя привычка к самодисциплине, целеустремленный ум и стойкая натура, пропитанная книжной идеальностью, выработали в нем ту безотказную силу воли, которая, словно намагниченная стрелка компаса, всегда указывала ему на строгий север духа. Эта внутренняя дисциплина не только управляла силами его души, но и придавала гармоничную стройность его внешности, не позволяя вылезти наружу той исконной народной простоватости, которая

всегда пряталась где-то в глубине его души. Только гораздо позже, спустя десятки лет, под влиянием семейной жизни и врожденной доброты эта каменная прочность немного ослабела, а вместе с ней обмякли и расслабились черты его лица, уже не подвластные командам воли. Но в молодые годы ее хватка была еще железной, и когда вечером на новогоднем празднике он сидел рядом с мамой в парадной летной форме, откинув со лба волну льняных волос, и невозмутимо разливал шампанское, не пытаясь за ней «приударять», как это делали все остальные, – в тот вечер, если верить семейным преданиям, и началась их долгая любовь.

После летного училища отца распределили на работу в далекий и глухой Якутск. В то время это был маленький городок на берегу холодной Лены, населенный почти одними уголовниками. Вечерами, когда отец был на работе, зэки часто стучали маме в окно, прося на выпивку, а потом забирались друг другу на плечи и заглядывали в комнату через тряпку, которой она занавешивалась вместо шторы. Отца почти никогда не было дома: он целыми днями летал в открытом «кукурузнике» по северным районам тундры, где после первого же рейса с его лица чулком облезла обмороженная кожа, а плевков замерзал на лету, как в рассказах Джека Лондона. Позже они перебрались в более цивилизованный Иркутск и долго скитались по чужим квартирам в снимаемых за три рубля «углах», отгороженных от других семей разве-

шенной простыней. Мамина красота, и без того очень редкая, в таких местах казалась чем-то совсем экзотическим и драгоценным, как тропический фрукт, выращенный в теплице. Куда бы она ни отправлялась, за ней ухаживали, с ней флиртовали, в нее влюблялись едва ли не все попадавшие по пути мужчины, не считая тех, у кого не хватало на это смелости. Если бы какому-нибудь хироманту в то время поручили начертить линию ее судьбы, она бы, наверно, утонула в сложном переплетении чужих жизней, сотканном ее поклонниками в ту символическую сеть, куда ни одному из них так и не удалось ее поймать. А отцу повсюду приходилось таскать за ней длинный шлейф мужского поклонения, в котором запутывался первый встречный.

Одна из таких драматичных встреч сохранилась в памяти нашей семьи. Дело было в Домодедовском аэропорту, где мама, папа и моя годовалая сестра (брат и я были еще в проекте) сидели в зале вылета и ждали рейс в Иркутск. Отец пошел искать молоко для детской каши, и висевшая над аэродромом туча как раз разразилась ослепительной грозой, когда за мамин столик подсел немолодой, но стройный офицер, летевший транзитом в Ленинград, – крепкий мужественный красавец с внешностью кинозвезды. Казалось, суровая профессия не только выдубила и огрубила ему скулы, темневшие брутальной щетиной, но и снабдила пасмурным отливом шторма стальную как северное море шевелюру, а яркой синевы глаза посредством соли обратила в щелок. В тече-

ние следующих десяти минут, пока за подернутым испаринной окном вытягивался и ломался в потоках ливня белый лайнер, облепленный, словно подводный батискаф, золотыми пузырьками габаритных огоньков, и плакучая хризантема на буфетной стойке дрожала и пенилась в струе кондиционера, неотразимый капитан признался маме, что обрел в ней мечту всей своей жизни, и без обиняков предложил руку и сердце. Скоро пришел отец, но капитан сохранил полное самообладание и, напомнив маме, что будет ждать ответа, с достоинством вернулся за свой столик. Там он еще с полчасика поглядывал на часы и прикладывался к коньяку, бросая на нее пристальные взгляды; потом подошел с извинением, что ему пора идти, бегло набросал в блокноте несколько чернильных молний, сунул листок под вазочку с салфетками и, сказав, что будет ждать звонка, удалился раскачивающейся походкой морского волка. На листке были указаны его адрес и номер телефона.

Такие эпизоды повторялись регулярно (чего стоит один несчастный инженер, влюбившийся в нее прямо в ЗАГСе, куда он пришел жениться на другой), и годам к сорока ее жизнь напоминала полное собрание тех историй и сюжетов, которые по отдельным главам знакомы каждой более или менее красивой женщине. Ей довелось познакомиться со всеми мыслимыми видами домогательств и ухаживаний: открытым штурмом, робкими намеками, угрюмыми поползнове-

ниями, платоническими вздохами, страстными признаниями, романтическими письмами, покровительственными ухмылками, — а заодно и со всеми издержками и огорчениями, какие приносит женщине слишком привлекательная внешность, начиная с зависти родных сестер и кончая ненавистью чужих жен. Постепенно она научилась пользоваться своей красотой как удобным инструментом и не стеснялась извлекать из нее выгоду, когда это требовалось для нужд семьи: преодолевая природную робость, обращалась к отцовскому начальству, ходила «по инстанциям» и стучалась в важные кабинеты, где очарованные ею чиновники, плотоядно ослабившись, ставили в формуляре подпись, которую раньше невозможно было выбить никакими средствами. В таких случаях она проявляла смелость, находчивость, обаяние и такт, которые, пожалуй, заслуживали лучшего применения и совсем другой среды. Много лет спустя огоньки обожания продолжали вспыхивать вокруг нее здесь и там, но все реже, все с большими промежутками: то благообразный инвалид, постукивая палочкой, подсаживался на скамейку и заводил туманную беседу ни о чем, то старый поклонник, расставшийся со второй женой, заявлялся под вечер в гости и признавался ей в «пожизненной» любви, пока отец разогревал еду на кухне. Мамина красота гасла постепенно, увядая вместе с букетом многих других ее достоинств и даров, которыми, неизвестно для чего, наделила ее щедрая природа: оперным голосом, сорванным однажды на морозе, врожденными

способностями к танцам, острым математическим умом, великолепным чувством юмора, необузданным воображением и интуитивным знанием людей. Ни один из ее талантов так и не вышел за рамки домашнего круга: все понемногу растворилось и выцвело в бытовой тине, в неуловимых глазом изменениях возраста и в нас, ее малоодаренных детях. Кроме небольшого числа знакомых, никто о ней ничего не слышал и не знал; нигде не появилось ее портретов, ее имя не было связано ни с какими известными людьми, не мелькало в примечаниях к книгам, не осталось на старых афишах, в печатных изданиях и рукописных дневниках. Но, по большому счету, возможно, все это не так уж важно, поскольку, как было сказано в одной старинной книге, большая красота всегда оставляет за собой легенду, пусть даже в преданиях одной семьи.

# Римский судья

В первые ноны июня, накануне праздника весталий, жена городского судьи Сульпиция Секунда поссорилась со своей свекровью. Ссора произошла из-за греческих хитонов, которые невестка купила утром на портовом рынке и по беспечности оставила в товарной таре – плотных тюках из воловьей кожи. Опасаясь, что в упаковке ткань испортится, Аппиана вынула и развесила на воздухе одежду, не дождавшись разрешения невестки; и только потом, когда дело было уже сделано, ее охватило предчувствие скандала. И действительно, вернувшись после полудня из бани и увидев сложенную во дворе одежду, Сульпиция накинулась на свекровь. Она сварливо отчитала ее за то, что та занимается тем, о чем ее не просят, и заявила, что в тюках с тканью ничего бы не случилось, – а вот теперь золотая бахрома, самая ценная часть одежды, безнадежно выцвела на солнце. Оскорбительный тон невестки и особенно последнее обвинение, наполовину справедливое и поэтому тем более обидное, глубоко задела Аппиану. Какое-то время она крепилась и молчала, но потом направилась в комнату Сульпиции, – которая уже успела забыть об этом разговоре и занималась приготовлением рыбы, – и в сдержанных, но гневных выражениях выразила ей свое недовольство. Невестка, слегка опешив от запоздалого ответа, сначала возражала мягко и миролюбиво,

но потом поневоле опять стала раздражаться, возвысила голос и наконец в ярости выбежала из комнаты, бросив напоследок несколько грубых слов.

Аппиан Авл, муж Сульпиции, вернувшись домой обедать и узнав о ссоре, не встал ни на ту, ни на другую сторону. Он придерживался мнения, что женщины, раз уж они имели глупость поссориться, должны сами и помириться. Поцеловав жену в лоб, он сказал ей, что не хочет вмешиваться в их дела, потому что одинаково любит их обеих, а с матерью разговаривал так, словно ничего не произошло. После обеда он ушел на службу, где у него осталось много нерешенных дел, и вернулся только поздно вечером, когда уже стемнело и мальчик-раб нес впереди него зажженный факел. С некоторых пор Аппиан часто возвращался затемно, озабоченный тем, как складывались обстоятельства в суде. Подражая старым римлянам, на государственной службе он не беспокоился о своей выгоде и не поступался честью ради личных интересов, заботясь только о соблюдении права и закона. «У меня дурной характер, – говорил он каждый раз, когда ему явно или скрыто предлагали взятку. – Я слишком горд, чтобы унижаться до сделок с совестью, и слишком самолюбив, чтобы, проявив жадность, дать кому-то право смотреть на себя свысока». Но в последнее время в действия суда все чаще вмешивалась политика, и это запутывало многие дела, где пристрастия становилось трудно отделить от справедливости, а государственные интересы – от частных преступле-

ний. Накануне в городе раскрыли новый заговор против цезаря, и среди арестованных оказались люди, многих из которых он близко знал. В основном это были честные граждане, люди достойные и мужественные, искренне радевшие о пользе Рима: закон они нарушили только потому, что всякое действие против властей считалось противозаконным, и за свою принципиальность заслуживали скорее уважения, чем казни. Аппиан считал, что в политике закон теряет свою силу и становится оружием в руках противников, за которое в пылу борьбы хватаются так же злобно и с такой же яростью, как за палку или камень на дороге. Чтобы сохранить репутацию, ему следовало прямо заявить об этом и уйти из суда, оставив свою должность и превратившись в частное лицо, раз уж истинная справедливость стала невозможна. Но поступить так означало бы совершить самоубийство: его наверняка обвинили бы в сообщничестве с заговорщиками и казнили вместе с ними, несмотря на то что он не разделял их убеждений. А такая пустая и бессмысленная смерть вызывала в Аппиане отвращение, как и все, что уменьшает упорядоченность мира и повергает его в еще больший хаос. И теперь, идя по темной улице и сохраняя по привычке строгий и высокомерный вид, он с горечью сознавал, что, вопреки своему убеждению и совести, ему придется осудить заговорщиков на смерть. Он старался утешить себя мыслью, что сам, в отличие от многих, не примет взятки ни от одного из обвиняемых, в большинстве своем людей известных и с достат-

ком. Но хуже всего было именно то, что если бы он смягчил свой приговор, откровенно приняв деньги, никто не стал бы обвинять его в сообщничестве: ведь тогда его корыстные мотивы были бы всем понятны и его поступок почти наверняка сошел бы ему с рук.

Дома он съел холодный ужин, ветчину и сыр, оставленные женой, запил его чистой водой – завтра ему нужна была свежая голова – и уже собирался лечь спать, когда раб доложил о новом посетителе. Аппиан без колебаний приказал его впустить: хороший судья не знает, что такое приемные часы. Посетитель появился прежде, чем он успел предположить, кто это может быть. Им оказался Клодий Бур, клиент одного из заговорщиков. Учтиво извинившись за поздний визит, он отказался от остатков ветчины, которую жестом предложил Аппиан, и, подождав, пока раб выйдет, поинтересовался, как идут дела. Вместо ответа Аппиан спросил, почему он не был на вечернем заседании. Клодий Бур без улыбки и смущения рассказал о том, как всю вторую половину дня ходил по судьям – ловил их на улицах, поджидал возле бань, хватал за тогу в переходах и навещал в домах, – и всех по очереди пытался подкупить деньгами, предлагая их от имени своего патрона и его товарищей. По словам Клодия, большинство от взятки отказались: «Да и то сказать, что такое сейчас деньги, – заметил он, – если завтра у каждого может скатиться голова». Однако он не стал называть имен ни тех, кто отказался, ни тех, кто согласился. «Что касается тебя, Аппиан, то я да-

же не стану заикаться о деньгах, — прибавил Клодий со смехом, — ведь всем известны твои твердые принципы и строгость твоих нравов: не зря тебя называют последним римлянином. Скорей уж я мог бы указать на то, что именно в силу строгих принципов тебе следовало бы оправдать моего патрона: ибо ты знаешь, что он, как и ты, честный и достойный человек, доблестный муж и примерный семьянин, не в пример мне, его скромному клиенту. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что, выступая на его защиту, ты рискуешь головой, и для этого у тебя должна быть более серьезная причина, чем простая любовь к истине. Поэтому я пришел к тебе сказать, что у меня есть такая причина или, если хочешь, хороший повод, очень существенный и основательный, чтобы проявить свое великодушие и подать свой голос в пользу Павла». Аппиан прервал его, подняв руку, и сказал, что, каким бы ни было это предложение, он не желает больше слушать. «Нет, ты не понял, ведь я ни слова не сказал о подкупе. Хотя, надо тебе заметить, подкуп или взятка, если бы эти слова сами по себе не были такими одиозными, вполне могли бы сойти за повод к бескорыстию, ведь в наше время оно может безопасно существовать, так сказать, только под маской корыстолюбия». Аппиан снова перебил, сказав, что время уже позднее и он хочет спать, а не выслушивать его софизмы. «Но Авл, друг мой, это не софизмы, а правда жизни. Ты сам отлично знаешь, что во время смуты правители благосклонно относятся к мздоимцам и кутилам, кото-

рых в случае надобности можно подкупить, и как огня бояться людей принципиальных, с убеждениями, ибо там, где есть убеждения, пахнет заговорами и политикой. Но, повторяю, я не собираюсь предлагать тебе ни денег, ни каких-нибудь услуг, вообще ничего. Прошу тебя, не будь таким обидчивым. На самом деле я считаю, что тебе следует проголосовать за моего патрона хотя бы для того, чтобы поддержать свою репутацию, ведь иначе могут подумать, что ты просто испугался». «Хотел бы я посмотреть на того, кто осмелится мне это сказать», – с улыбкой ответил Аппиан. «Конечно, в лицо тебе этого никто не скажет, а ведь ты не станешь заботиться о том, что люди шепчут за твоей спиной, не так ли? К тому же, говоря по правде, кроме денег мне нечего тебе и предложить, разве что связи, но и связи теперь дело ненадежное. Есть, впрочем, одна возможность – редкая возможность, я бы даже сказал, немного необычная. Настолько необычная, что, если я скажу тебе о ней прямо, боюсь, ты мне не поверишь. Поэтому будет лучше, если ты завтра поговоришь об этом с судьей Евбулом, с которым у меня есть кое-какие дела. Побеседуй с ним, назови мое имя, спроси, доволен ли он нашей сделкой, – просто так, из любопытства, чтобы знать, что происходит в городе. Тебя ведь это ни к чему не обязывает».

Ночью Аппиан спал крепко, как всегда, а утром имел неприятный разговор с женой. Бреясь перед завтраком, Аппиан вскользь посоветовал жене помириться с его матерью,

заметив, что, по его мнению, в отношении к Аппиане она слишком напряженна и суха, и шутливо сравнил ее с черствой коркой, которую следует размягчить, размочив в молоке. Сульпиция обиделась на это сравнение – значит, он считает ее слишком худой? – перевела разговор на мужа и принялась с пристрастием перечислять все его слабости и недостатки, доказывая, что, будучи таковым, он не имеет права судить о ней. В ответ он начал защищаться, пока их спор не превратился в брань, и явился в суд с большим опозданием, раздраженный и в скверном настроении.

В суде продолжали расследовать дело заговорщиков. До обеда вели дознание, заключавшееся в том, что допрашивали все новых свидетелей и находили все новые доказательства в пользу обвинения. Некоторые рабы признавались только под пытками, другие сами доносили на своих хозяев, хмуро и односложно или, наоборот, с таким количеством деталей и подробностей, что приходилось их останавливать, чтобы хватило времени на других. Пытали также женщин, которые, по давнему наблюдению Аппиана, часто оказывались более мужественными и стойкими, чем многие мужчины, на вид способные сойти за Марса. Глядя, как какая-нибудь хрупкая нубийка, вывернутая на дыбе, с посиневшим от крови лицом хрипит сквозь зубы: «Не знаю», – он содрогался от жалости и восхищения. А тем временем расследование, словно тяжелый камень, пущенный с горы, неудержимо катилось к обвинительному приговору и, подобно тому же

камню, увлекало за собой щебень и кучи мусора в виде множества словоохотливых свидетелей. Из свободных граждан были вызваны только трое, легат Соссоний Лабиан, всадник Фабий и двоюродный дядя его жены, член городского магистрата Квинт Сульпиций Луп. Первые два спокойно подтвердили, что обвиняемые в заговоре на словах и на деле выступали против власти цезаря, и лишь Квинт Сульпиций, колебавшись, тихо выразил убеждение, что вся эта оппозиция, если она и существовала, заключалась только в разговорах и не пошла бы дальше атриума и термы. Впрочем, слова его не были занесены в протокол.

В перерыве совещания все вышли в портик у здания суда, чтобы прогуляться в его прохладной тени. Аппиан, следя за Евбулом, как бы случайно подошел к нему сзади и засвидетельствовал свое почтение. Евбул, коренастый и заплывший жиром варвар из Трансальпийской Галлии, год назад получивший римское гражданство (говорили, что за большие деньги), стоял в тени колонны и воспаленными глазами моргал на залитый солнцем двор. Аппиан, мягко взяв его под руку, – такова была его обычная манера вести беседу, – рассказал о вчерашнем визите Клодия Бура и упомянул его совет расспросить о заключенной между ними сделке. Услышав имя Бура, Евбул с подозрением воззрился на Аппиана, но потом покачал головой, и по его губам скользнула хитрая усмешка.

– Вот мошенник, жулик, прохиндей! – воскликнул он, вы-

тирая краем тоги плешь и тихонько посмеиваясь. – А мне он клялся, что будет молчаливей мурены. Значит, Клодий разболтал тебе про нас с Зенобией?

– Нет, он лишь назвал мне твое имя. Ты говоришь о...

– О Зенобии, дочке Корнелия Домна, которую Клодий мне вчера сосватал.

– Так ты на ней женишься?

– Я? Клянусь Зевсом, нет! Бессмертные боги этого не допустят – ведь я уже женат.

– Тогда как тебя понимать?

– Ты в самом деле ничего не знаешь? – с недоверием спросил Евбул. – Хорошо, я тебе скажу, потому что если уж Клодий открыл свой рот, об этом все равно услышит половина города. Хотя и это не беда. Зенобия досталась мне за голос, поданный в пользу ее отца, и я провел с ней нынешнюю ночь. Клодий нам это устроил.

Аппиан знал Зенобию, он часто видел ее в городском саду и в доме отца, военного трибуна, – смуглую девочку с глазами цвета спелой вишни, из которых левая, более светлая, казалась немного недозревшей.

– Ты перегрелся на солнце? – спросил Аппиан. – Или тебе приснился сон? Возможно ли, чтобы ее родные на это согласились?

– Если это был сон, то я хотел бы никогда не просыпаться. Впрочем, я слышал, что не одна она, а многие участвовали в этом. Гай Семпроний мне рассказывал, что Клара, жена Уль-

пина, страсть как постаралась для своего муженька. Правда, ей уже тридцать два, к тому же ходят слухи, что она отдавалась за деньги Бассию Презенту.

Аппиан покачал головой:

– Не могу поверить, что отец Зенобии согласился на эту сделку.

Евбул пожал плечами.

– Мне-то что за дело? Спроси об этом у Клодия. Что касается меня, то, по-моему, согласишься и не на такое, если у тебя над шеей блестит топор.

– И ты был с ней этой ночью?

– До самого утра. Постой, ты считаешь, что одной ночи недостаточно? Да, ты прав, мне следовало потребовать большего. В конце концов, она еще слишком юна. Сказать правду, в первую половину ночи она только плакала и тряслась от страха, зато потом... Боги, какой у нее зад! А ведь ей всего пятнадцать.

– И что же, ты собираешься сдержать слово? – спросил Аппиан. – Не боишься, что за такие дела тебя самого отправят на плаху?

Евбул нахмурился и, оглядевшись по сторонам, ближе наклонился к Аппиану.

– Видишь ли, Авл, мы здесь одни, и я говорю с тобой откровенно, – сказал он, дружески сжав его за локоть. – Наш цезарь, конечно, большая сволочь, но я лично против него ничего не имею, и те, кому надо, об этом знают. К тому же

Рим далеко, а здесь, у нас в городе, свои люди и свои дела. Помни об этом, если хочешь сохранить голову на плечах. А теперь позволь мне тебя покинуть, поскольку меня настоятельно зовет природа, и я боюсь запачкать свою новую тогу.

В полдень судьи возвращались домой, изнемогая от жары, — хотя лето еще не наступило, сжатая камнями улица дышала зноем, как ливийская пустыня. Аппиан выбрал северную сторону, где у домов еще оставалось немного тени, и всю дорогу старался себе представить, какая из родственниц заговорщиков предназначалась Клодием Буром для него. Перебирая их в уме, он с безразличным интересом оценивал внешность каждой, сравнивая их достоинства и недостатки, как на рынке выбирают себе рабынь. Только одну из них он, из невольного уважения, обходил в своих мыслях стороной — Юлию, жену Павла Домиция, молодую патрицианку, которая славилась не только безупречной нравственностью, но и редкой красотой. В суде и на форуме ходили сплетни, что она не любит своего мужа, но никто и никогда не обвинял ее в измене: грязь, так обильно пачкавшая остальных, к ней не прилипала. Аппиан, как и многие другие, завидовал Домицию за его права на эту женщину, чьи ум и благородство, при столь счастливой внешности, казались воплощением не столько человека, сколько божества. Изредка видясь с ней дома и в гостях, он испытывал странную робость, необъяснимую для мужчины его лет, и с печалью ощущал незримую границу, отделявшую ее от других мужчин и поэтому при-

дававшую еще больше блеска положению того единственного, для которого таких преград не существовало. Привилегия быть ее мужем, возможность постоянно находиться рядом с ней, наслаждаться ее обществом, обладать хотя бы ее телом, если не душой, казались Аппиану счастливым даром, и он почти жалел о том, что прекрасная и недоступная жена Домиция чересчур добродетельна, чтобы служить предметом торга.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.